



ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Серия основана в 1993

Глеб Шульпяков. Жёлудь. Книга стихотворений.

МОСКВА 2007



Шульпяков Г.

Ш-95

Жёлудь. — М.:Время, 2007. — 80 с.
(Поэтическая библиотека)
ISBN 5-9691-0181-8

«Жёлудь» — вторая книга стихотворений поэта. В нее вошли как хорошо известные читателю стихи и поэмы, так и совсем новые, составившие первую часть книги. Поэзия Шульпякова прошла испытание классическими размерами русского стиха — и стиха свободного, европейского. Перед читателем попытка соединить роман и лирику, повествование и озарение. Это стихи, которые ведут вас по закоулкам городов мира — и незаметно приводят в лабиринты души и разума. В стихотворениях нередко возникает образ восточного базара, роскошного и жестокого, где легко заблудиться и стать очарованным пленником запахов, красок и форм, которыми так богата поэзия Глеба Шульпякова.

ББК 84Р7-5

I. Жёлудь

*

невысокий мужчина в очках с бородой
на чужом языке у меня под луной
раскрывает, как рыба, немые слова,
я не сплю, ты не спишь, и гудит голова —
значит, что-то и вправду случилось со мной,
пела птичка на ветке, да стала совой,
на своем языке что-то тихо бубнит
и летит в темноте сквозь густой алфавит

*

выпускаешь из рук, и бежит по рукам в темноту
эта белая нить, распуская невидимый свитер, —
а на площади рядом с вокзалом слепой какаду
составляет словечки из мелко нарезанных литер;
отыграет мазурка, закончится желтый перрон,
будет ветер гонять по углам голубиные перья —
эта белая нить, что когда-то водила пером,
а теперь запускает на небо воздушного зверя

*

в зябких мечетях души бормочет
голос, который не слышно толком,
красный над городом кружит кочет
и притворяется серым волком —
сколько еще мне бойниц и башен?
улиц-ключей на крюках базара?
город ночной бородой погашен
и превращается в минотавра

*

как долго я на белой книге спал,
и книга по слогам меня читала,
а розовый скворец вино клевал,
ему вина всегда бывает мало —
как сладко, проникая между строк,
ловить ее не книжное теченье,
пока во тьме земли копает крот,
мой город-крот, темно его значенье

*

в мире из множества смежных квартир
я обживаю сквозные проходы,
узкие рамы прозрачных картин,
лестничных клеток железные хорды —
гул затихает, и слышно во тьме,
как осыпаются тонкие стены
тысячелетий, дремавших во мне
.....тени

*

мокрый флаг на великой стене,
своры чаек срываются с неба:
я их видел когда-то во сне,
а теперь очищаю от снега,
на босфоре метель, и суда
голосят в темноте, как цыгане, —
золотую цепочку со дна
заиграли в портовом шалмане,
и бренчит она там в тишине
побелевших от снега тюрбанов
по душе, позабывшей о сне
в этой каменной роще тюльпанов

*

...немногих слов на лентах языка,
но слишком неразборчива рука,
и древо опускается во тьму,
затем что непостижная уму
из тысячи невидимых ключей
сплетается во тьме среди корней
и новый намывает алфавит, —
ручей петляет, дерево горит

*

когда не останется больше причин,
я выйду в сугробы ночного проспекта,
где плавают голые рыбы витрин
и спит молоко в треугольных пакетах, —
в начале начал, где звенит чернозем,
я буду из греков обратно в варяги,
и женщина в белом халате подъем
сыграет на серой, как небо, бумаге

*

на дне морском колючий ветер
гоняет рваные пакеты,
а где-то в небе крутит вентиль
жилец туманной андромеды,
и дождь стучит над мертвым морем,
соленый дождь в пустыне света,
как будто щелкает затвором
создатель третьего завета,
но стрелы падают сквозь тучи,
не достигая колыбели,
по-колыбельному певучи,
неотличимые от цели

*

низко стоят над москвой облака,
сквозь облака ледяного валька
стук раздаётся в сырой темноте —
всадники с гнездами на бороде
едут по улицам, свищут в рожок,
и покрывается пленкой зрачок,
птичьим пером обрастает рука,
в белом зрачке облака, облака

*

А. К.

какой-нибудь полузабытый мотив
на старом базаре, и сердце разбито,
а в небе качается белый налив,
и тянется вдоль переулка ракита, —
какой-нибудь малознакомый квартал,
где снежную бабу катали из глины —
я знаю! — там жёлудь за шкафом лежал,
а мимо несли бельевые корзины,
их ставили в небо одну за другой,
и двигались простыни над головой

*

эта музыка в нас, как вода подо льдом
безымянной реки, уходящей винтом
сквозь ворованный воздух в сады облаков,
и горит сухостой вдоль ее берегов,
а потом на земле остывает зола —
эта музыка в нас, как дерсу узала,
незнакомой породы слова за щекой,—
что ты мелешь, старик!
я иду за тобой

2. Запах вишни

*

Афанасию Мамегову

I .

«Алла-алла!» —
по черным веткам
крепостных кипарисов каспийский ветер
шелестит, налетая на зимний город.
«Алла-алла!» —
музейный сторож,
старый бакинец, пальто в побелке,
перебирает ключи, как рыбу
перед базаром. Он отворяет
двери в гробницу, но сам не входит.
У рассеченного кипариса
ждет, поднимая ладони к небу.

Я прикрыл створку и остался один
в голых стенах. Посреди склепа
застыли семь каменных надгробий.
Они были похожи на лодки
(или вагонетки), вмерзшие
в холодный известняк.
Кто лежал под этими лодками?
Когда отправились в путь?
Несколько строк куфической вязью —
вот и всё, что от них осталось:

*«Величайшего шаха поэт придворный,
оды писавший, певший гимны,
ныне печальный я стих слагаю.
В год восемьсот девяностый хиджры
умер Халиллуалла!
Под этим
камнем лежат его прах и кости».*

Кто бы узнал о тебе, скажи мне,
князь Апшерона, имевший земли
от Шемахи до Шеки и дальше?
Кабы не строчка на камне, ныне
кто бы с тобой перемолвил слово?
Как ни ложись ты, каким узором
ни покрывай на руках запястья,
прах отличает от пыли время.
Но и оно проходит.

2 .

На третий день мы решили
поехать за город, в сторону Баилова.
Я слышал, там еще сохранились
нефтяные вышки братьев Нобель,
и мне почему-то хотелось их видеть.
День стоял погожий —
когда море сливается с небом,
за два ширвана таксист в ушанке,
в прошлом московский инженер-химик,
подбросил нас на холм по трассе
и высадил подле большой мечети.
Эту мечеть построили недавно,
она лоснилась, как эклер,
на фоне портовых кранов.
Обмотав голову платком от ветра,
ты осталась у парапета
и смотрела вниз на слепое море.

Я же полез по сыпучему склону,
где лежал террасами старый погост,
и чем выше я забирался, тем меньше
становился твой силуэт; тем старше
казались камни; тем больше
сухой травы в головах кустилось.
Какие-то норы и дыры зияли в земле,
и просто обломки могильных склепов:
всё перемешалось наверху. Ничего
не разобрать — только воздух
ревет и грохочет в ушах все время.
...Так они и лежали,
продуваемые гирканскими ветрами:
пятки наружу, без имени-отчества,
в своих неуютных дырявых норах,
а ржавые башни братьев Нобель
всё кивали и кивали
головами.

И тогда я подумал: умру, пусть
крошится камень и пятки мерзнут,
пусть выдувает слова на плитах
ветер — или гоняет мусор —
буду ворочаться с боку на бок,
то лицом на восток, то лицом на север,
и повторять на чужом наречье:
«Алла-алла!» —
по ночам пересчитывая
качалки.

ЗАПАХ ВИШНИ

Моим родителям

I .

«Мне нужно выговориться, вот что...»

(это чужая, не моя строчка).

Прошло уже — сколько? — почти полгода:

лето, осень, вот и февраль проходит,

а я всё никак не могу ни строчки.

Каждое утро собираю свои бумажки,

выхожу на кухню, к плите поближе,

и смотрю за окно, где на белом фоне

носится рыжий соседский пудель.

Итак, этим летом я жил на даче

(дача была не моя, чужая —

друзья разрешили пожить немного).

В Москве этим летом пахло гарью —

где-то в округе горел торфяник.

Даже в метро голубая дымка!

А тут полчаса по Казанской
железной дороге —
и ты на веранде: глядишь, как солнце
бьется весь вечер в еловых лапах.

Утром рынок: говядина и картофель,
помидоры, арбуз, и на вечер водки.
А потом на матрасе листал журналы —
«Юность» листал, «Огонек», «Ровесник»,
когда же смеркалось, ставил мясо,
резал овощи, вынимал из воды бутылку —
и устраивал пир.

В это лето на даче я сочинял пьесу
(это была чужая, не моя идея —
написать пьесу; один театр
заказал мне драму из прошлой жизни).
Классика жанра: любовь и море.
И чтобы ружье под конец стреляло.
Тогда, что ни день, полистав журналы,
я поднимался наверх, в мансарду.

Открывал машину и всех героев
выпускал на волю: поболтать, побегать.
Знаете, как бывает, если пишешь пьесу?
Дашь им слово, такой шум поднимут —
перессорятся, передерутся:
еле успеваешь следить за ними.
А тут еще на соседней даче:
«Ксюша, Сережа, идите кушать!»
«Ваша подача, Антон Иванович».
«Дима, ради бога, угомони собаку!»

И вот, подбираясь по ходу пьесы
к револьверу, который лежит на полке,
я увидел в окно, как летит по небу
красный мячик —
и падает мне под окна.

2 .

«Я собираю женщин и монеты!» —
он запахнул халат на животе

и снова запыхтел душистой трубкой.
«Я тоже собирал когда-то...» — «Женщин?»
«Да нет же, я...» — «Мой друг, они похожи!
У каждой есть и возраст, и цена.
Знакомьтесь, это Машенька. Жена.
Год выпуска...» — «Не слушайте, скажите:
так это вы на даче у соседей?»
«Оставили ключи пожить немного».
«А мы на ужин щуку по-ильински!
Останетесь на щуку?» — «Что, в сметане?»
«Конечно». — «Ну, тогда иду за водкой».
«Еврейская?» — «Другая здесь не в моде».
«Я вижу, вы давно на этой даче».

И вот уже по воздуху горячий
и пряный дух плывет.
По щучьему веленью помидоры,
облепленные луком и петрушкой,
да розовый с прожилками редис,
и ,наконец, распаренная щука
в разваренной картошке —

и смотрит, смотрит, смотрит на меня
глазами побелевшими.

И мы сидим — и час, и два, и три.
Звенят над абажуром комары,
стучит хвостом собака по настилу,
и разговор, как водится, на даче
течет рекой под старый патефон,
который нам опять поет по кругу:

фокстрот «Жемчуг»

летка-енка

вальс «На сопках Манчжурии»

«Ленинградские мосты»

и попури «Девушка из Майами».

И тут его жена, всплеснув руками,
уходит в дом, гремит в дому посудой
и наконец торжественно выносит
тарелку черных жирных ягод —
и водружает посреди стола.
«Поверите? Когда-то здесь была
усадебка, вот уже не помню,

каких князей, и был вишневый сад,
огромный сад на этом самом месте».
«...Владельцем был какой-то скандинав,
имевший капитал на перевозках».
«И что же, ничего не сохранилось?»
«Ну, кое-что еще осталось.
В купальне ловят щуку, да конюшни,
где муж нашел копейку Николая...»
«Я собираю женщин и монеты!»
«...да несколько деревьев тут и там,
с которых мы снимаем эту вишню».
«Какой-то чеховский сюжет!»
«Возьмите, правда. Это вам на завтрак.
Как говорится, с барского куста.
А блюдо как-нибудь потом вернете».

...Собака проводила до ворот,
и я пошел вдоль пыльного забора
домой в еловой темноте,
какая только здесь, на подмосковных,
бывает ближе к августу ночами.

Не ягоды, но сладкий запах вишни
я нес тогда, как облако, в руках.
Над головой, расталкивая звезды,
курсировала щука по-ильински,
и я, закрыв глаза, увидел сад, —
как ягоды качаются на ветках
и солнце пробивается сквозь листья.
Когда и где я встретил эту вишню?
Очкарик из начальной школы, как
попал я к этому забору,
который мне сорвать ее мешает?
И я, открыв калитку, захожу
в чужие огороды — обмирая
от страха, обрываю с веток
и слышу женский голос у ворот:
«Понравилась тебе чужая вишня?»

«Ну что же ты не ешь?» — передо мной
бидон отборных ягод,
а женщина в дверях, и глаз не сводит,
она перебирает синий фартук,
а после тихо говорит:

«Пока не съешь, не выпущу».
И там, в дверях, садится на скамейку.
...Сперва одну, затем другую вишню
я вынимаю (пальцы ледяные!),
пригоршнями заталкиваю в рот,
размазывая слезы по щекам,
а женщина всё смотрит на меня,
и кажется, вот-вот сама заплачет.

«Теперь ты понял?» — «Понял». — «Ну, иди».
Я встал из-за стола. «Постой. Умойся.
Куда же ты такой чумазый?»
Мы идем на кухню, где вода.
Она берет мое лицо в ладони,
цветастым полотенцем вытирает,
а после прижимает к животу,
и я стою, уткнувшись в фартук.
Он теплый, этот фартук, и шершавый.
И пахнет жареной картошкой.

3.

На следующий день я закончил пьесу.
Револьвер — представляете? — дал осечку:
только море осталось шуметь в ремарках.
И тогда я решил, что пора обратно —
хватит уже куковать на даче.
Вещи — в сумку. Сложил компьютер.
Запер дом, а ключи затолкал под кровлю,
и пошел, не оборачиваясь, на поезд.

Там, на дачной веранде
(теперь она похожа на вагон,
у которого нет ни колес, ни стекол),
осталась тарелка. Стоило мне уйти,
как ее тут же облепили осы.
Жадные, неуклюжие, они набросились
на гнилую вишню, и скоро вся тарелка
была покрыта желтыми полосатыми
спинками.

...А я стоял в тамбуре у разбитых окон
и вдыхая горячий копченый воздух,
думал о том, что никогда не узнаю:
кто была эта женщина? жива ли она?
и если да, помнит ли меня,
как помню я?
«Да что вишня!
Мы даже о себе толком ничего не знаем.
Как родители нас, например, зачали?
Дома? На даче? В спальном вагоне?
Ночью или после обеда?
И кто первым на живот положил руку?
А может быть, это случилось в прихожей
прямо на мокрых шубах?
Слушайте, ведь это всё важные вещи!
Надо бы уточнить, пока они еще живы...»

В это время наш поезд влетел в столицу —
замелькали заборы, бетонные эстакады,
а я все стоял и перебирал варианты.
Один, другой, третий... И знаете что?
Тот самый, на мокрых шубах,
нравился мне все больше и больше.

осень 2002 — февраль 2003

*«Может быть, счастье — это только случайное
спряжение мыслей, не позволяющее нам думать
ни о чем другом, кроме того, чем переполнено
наше сердце. Кто из нас мог анатомировать
эти мгновения, такие короткие в человеческой
жизни? — Что до меня, то я об этом никогда
не глумал».*

.....

«МУРАНОВО»

I .

...машина понеслась на холостом
под гору, где река, и сходни в небо,
и камыши вытягивают воду.
Бросив руль, она смотрела на солнце:
дрожит, как пуговица на нитке.
Искала, не могла найти сигареты.
Я спросил: «Чем кончилось дело?»
«Украденные вещи мы вернули.
Я его, конечно, налупила.
Но толку — что? Его отец решил,
он в Англию отправится на лето,
а после перейдет в другую школу».
«И всё?» — «Всё». Колеса заскрипели
по гравию. «Давай зайдём в палатку», —
и пуговица в зеркале застыла.
«Продайте нам вино и сигареты!»

2 .

Мы обошли кругом добротный,
в английском стиле дом.
Дощатая веранда на боку
висела, как стрелковая кабина.
Башня приземистая, с бойницами.
Не дом — настоящий бронепоезд.
Зато знаменитые луга! от порога
они спускались плавно, лениво
и снова за рекой вставали, как волны.
А солнце садилось, забирая
небо розовой рябью до горизонта.
Здесь, в аллее, совсем стемнело.
Я поднял голову. «Могучие
и сумрачные дети», — процитировал.
«Смотри, огонь», — кивнула. В полумраке
едва мерцала красная лампада.

3 .

«Ушла, когда его отдали в школу, —
она легла в траву и закурила. —
Потом сошлись, опять расстались.
Так и рос на два дома. Где мы?»
«Этот был женат удачно — большая
для русского поэта редкость.
Выстроил дом, занимался лесом.
Досками торговал, но разорился.
Написал *Сумерки*, лучшую книгу,
и был, судя по всему, счастлив.
Умер внезапно, в Неаполе. Ничего
толком не успел увидеть».
«...а потом осталась одна
и, чтобы не сойти с ума, поехала с ним
в Италию. Рим, Равенна, Феррара —
через месяц вернулась другим человеком».

4 .

Я подошел к дому, заглянул в окна.
Посреди комнаты на паркете
лежали серые пятна.
Было видно кое-какую мебель.
Ширмы; люстра; огнетушитель
стоит, как часовой, у двери.
Я собрался уходить, но вдруг
тени по углам зашевелились.
Кто-то снулый вышел на середину:
с ногами в кресло, накрылся пледом.
Другой на корточках между окон
устроился. Включил транзистор—
загорелся зеленый огонь эфира.
Они сидели без света, и мне
показалось, что я слышу голоса.
Но я ошибался. Они молчали.

5.

«Решила окунуться. Подержи».
Сунула в руки тряпичный узел.
Сорочка, джинсы, комочки белья:
теплая ткань пахла свежим хлебом,
пылью и бензином. Я уткнулся
в одежду, медленно поднял глаза.
Она встала на краю сходен,
и теплый торфяной воздух
тут же облепил голое тело:
тонкая голень, крупные ягодицы.
Присела, соскользнула, исчезла
под речной кожей. «Вода — сказка!» —
долетело через минуту с того берега.
Я стал смотреть во тьму и скоро
увидел под водой молочное мерцание.
Раздвигая воду, она возвращалась.

6 .

Черные зрачки сосков, мокрая
арабская вязь на лбу. Прижалась
вся: бедрами, животом, грудью —
скользкие плечи в помарках ряски.
Одежда намокла, но сквозь холодный
хлопок хлынуло тепло. Оно
разливалось, как темное молоко,
по всему телу. И я закрыл глаза.
Тысячи темных аллей,
где огни вспыхивают и гаснут
во влажных еловых складках,
расходились лучами во все стороны.
А мы стояли на мокрых сходнях,
и теплый торфяной воздух
стягивал кожу, как бинт, всё туже,

и боялись пошевелиться.

3. *«На старом кладбище в Коломенском...»*

*

Д. Т.

Обрастаешь стихами, как будто вторая кожа
первой поверх покрывает лицо и руки;
даже вещи всё больше похожи на рифмы Блока
или на Фета, его наливные звуки, —

обрастаешь вещами, и вещи пускают корни,
шкаф или штору подвинуть — уже проблемы:
высыпают приставки и суффиксы, только дерни,
гладкие плавают в мыльной воде морфемы.

Обрастаешь собой, открывая в себе чуланы,
комнаты, где не погашен огонь, ампира
бесконечные лестницы — набережные канала, —
бродишь всю ночь и не можешь найти сортира.

*

«Царство небесное,
кровь с молоком».
Что же так ноет
под левым крылом?

Нету ни капли во фляжке.
Мусор какой-то, бумажки.

Синий халатик
висит на крючке.
Пьяный архангел
на медном ключе

что-то тихонько играет.
Ветер в стропилах гуляет.

Пусто на лестницах!
Нет никого,
кто бы ответил:
зачем? для чего

эти стальные прилавки?
Просит архангел добавки —

суп из пакетика
и облака.
Смерть бесконечна,
а жизнь коротка.

Тает монетка ментола во рту.
Плечики тихо стучат на ветру.

Спичек и соли;
фонарик в горсти.
«Не ошибись,
выбирая
пути».

*

Четыре дня над городом фрамуги
и ржавое железо грохотали —
четыре ночи мяло ветром реку,
блестевшую, как черная копирка,
когда же южный ветер перестал
и две сырых звезды упали в небо,
то стало над рекой тепло и тихо —
и первый раз все в городе уснули.

Тогда всю ночь во влажной тишине
вода в реке неслышно опускалась.
Она ушла, и сморщенное дно,
как старческие дёсны, оголилось,
и люди утром реку не узнали.
«Наверно, шлюзы». — «Да, наверно шлюзы».
«Такое тут весной бывает часто».
«Смотрите, человек внизу гуляет!»

И точно, там внизу, едва заметный
среди речного мусора — на дне,
какой-то человек бродил по лужам,
дорогу утверждая лыжной палкой
(как если бы ходил на трех ногах!),
и солнечные блики разбегались
кругами по воде, пока он шел
по дну реки, воды не замечая.

Казалось бы, ну что ему на дне?
А он все бродит по низу и бродит,
как будто перед ним руины башен,
и Фивы семивратные открылись,
и вовсе не забытый богом хлам,
но книга на песке — и надо книгу
во что бы то ни стало прочитав,
покуда наверху закрыты шлюзы.

.....

Когда в твоём окне течёт река,
она, не покидая берега,
повсюду проникает, промывая
до блеска в доме каждую вещицу, —
она всю ночь работает по дому
и только утром тихо отступает,
а вещи остаются, именами
забытыми, как реки, обладая.

*

Москва! несгораемый ящик
моих неземных платежей —
пропал полированный хрящик
в бурьяне пустых площадей.

На римских руинах Манежа
гуляют столичные львы,
уносят высотные краны
на небо фрамуги «Москвы».

Наденешь резиновый плащик —
и в путь, не касаясь земли.
Я был неумелый рассказчик:
ладони в кирпичной пыли.

Зашейте меня, как военный
пакет за подкладку, — Москва!
и гонят по небу, как пленных
полвека назад, облака.

*

*Под Рождество на Чистопрудном
бульваре, где я жил когда-то,
сердечко ёкает в нагрудном
кармане старого солдата —*

ключом на проволочной связке
я открываю эти двери,
где наши детские коляски
и наши черные портфели.
Я прохожу по коридору
под безутешным снегопадом,
я слышу запах «Беломора»,
кофейным пахнет суррогатом.

Кому накрыли стол под лампой?
Зачем рыдает радиола?
Метель беснуется за рамой —
и мятный привкус валидола.
Они пройдут из темных комнат —
мне разговор их непонятен,

как много в доме темных комнат!
как мало в мире светлых пятен!

Когда всю ночь на Чистопрудном
зима качает фонарями
и поднимается по трубам
над ледяными зеркалами —
тогда по ниткам, словно черти,
сигают ангелы на стогна
«и крылья складывают в плечи».
И заколачивают окна.

*

*Татарская «Старая Крепость»
на левом плече Коктебеля —
зажарь мне кефаль на мангале
и рюмку мадеры налей!*

*Пока не стемнело над морем,
мы с морем та-та-та поспорим,
и нам та-та-та-та-та рифмы
помогут та-та-та, та-та...*

Но что-то не сходилось в этот вечер
на каменной веранде Коктебеля.
«Иван Шмелев» у пятого причала
пытается напрасно бросить якорь —
с такой волной!
и катер сносит в море.
А я прошу татарина — мадеры.

Когда холодный ветер гонит волны
и мелкий дождь качается над ними,
мне в Коктебеле, кажется, звена —
зерна — узла — недостает в пейзаже.
Зря ветер перелистывает волны!
Из этой книги вырваны страницы,
и я плачу промокшими деньгами
за рыбу на мангале.
Мой татарин
смахнет остатки — лавки и лотки
и чертовы отроги Карадага.
Сырая парусина лупит воздух.
Накрашенная баба в караоке
рыдает про измену и любовь.
Я слышу на бильярде стук шаров.

Мне в Коктебеле кажется — судьба
бросает на сукно в шалмане жребий.
Скажите, что за числа на шарах?
Там говорят, что ночью на дороге
разбился грузовик; что все погибли;
а мой татарин в розовом трико
картонкой, молча, машет у мангала,
и я пойму, что рифмы для распада
не существует.

На каменной веранде Коктебеля
я слышу, как «Иван Шмелев» дает
еще один гудок — и отплывает.
С такой волной! он курс берет на Керчь
и с ходу набирает обороты,
а я сижу, и кажется, что глина
полосками стекает по лицу.
Я трогаю лицо, но рук не вижу.

В такие дни в Крыму темнеет рано.

*

*Смотри —
как выросла за лето
рука пророка
Даниила!*

По желтым улицам
Ташкента,
видать, она меня
водила.

Скрипел айван,
и пахло пловом,
белела в темноте
известка.

А вдоль айвана
шла корова
и на ходу жевала
звезды.

Куда еще?
Анхор сквозь пальцы
бежит, как рисовые
зерна. Весь вечер
ждут Сусанну
старцы. У них
глаза, как прежде,
черны.

А я тебя таким
запомню: твой
хлебный запах
на рассвете.
Я все твои
каменоломни
пройду с фонариком
вот этим.

И пусть болит
пустой в кармане
рукав пророка
Даниила.
«Я собираю эти камни!»
Смотри —
как выросла
могила...

*

А. Л.

На старом кладбище в Коломенском,
где борщевик в ограды ломится,
как черти в повести у Гоголя,
и воронье по крышам цокало,—
в углу под вязами столетними
стоял собор Усекновения
главы Предтечи.

Я заходил сюда от случая.
Здесь над оврагами певучая,
дощатая и комариная
стояла тишина старинная,
и как-то раз, под воскресенье,
калитка в храм Усекновения
была открыта.

И я вошел под этот стрельчатый,
нерусским гением отмеченный,
московским воздухом заточенный

и жестью наспех заколоченный
свод храма, где остатки росписи,
как острова на белом глобусе,
плывут под куполом.

Там за колоннами в предбаннике,
где друг за дружкой, как блокадники,
пророки со святыми лепятся,
была в стене пробита лестница,
винтом под купол уходившая,
облупленная и прогнившая
сырая, темная.

И я полез, глотая запахи,
по этой лестнице, где за ноги
хватают мертвецы и крошится
кирпич в руках, сдирая кожицу,
и тыщу лет впотьмах карабкался,
пока на белый свет не выбрался
и дух не перевел.

А наверху! Под кровлей звонницы,
как на гигантской переносице,
Москва поблескивала линзами
и на меня смотрела пристально,
а я стоял над этим городом,
и чей-то голос тихим шепотом

мне говорил, что всё наладится,
а где-то в небе Вечный Пьяница
гремел зелеными бутылками,
и летний дождь шумел над пыльными
крестами кладбища в Коломенском —
что всё когда-нибудь закончится.

*

Сад Люксембурга и Парк Победы,
вяза на острове Маргариты —
в этом лесу еще есть просветы,
красные в сумерках
габариты.

Иллюминация из Поднебесной
посередине пути земного:
колется воздух, и листьям тесно,
и начинается всё
по новой.

Девочки в пачках! парижский вечер,
небо затянуто пленкой дыма.
Вот — кто-то знакомый идет навстречу,
и, улыбаясь, проходит
мимо.

*

...дерево. Оно
стояло во дворе, у глухой стены,
как арестант. Старое, сморщенное.
Безымянное.
Про себя я так и называл его: «Дерево».
Оно считалось мертвым, но когда
я прикладывал ухо, слышал,
как шелестят листья.
Все листья, что шумели на нем когда-то.
Выше дерево вращало в стену —
где находилось мое жилище.
Чужие сны пахли медом и морем.
Но сразу же забывались.

Я прожил здесь год, писал:

*Как странно вечерами одному
бродить среди классических фасадов,
как будто опрокинутых во тьму,
оглошную от мокрых снегопадов...*

В сумерках,
когда воздух загустевает,
я различал под землей реки.
Хлопки невидимых окон.
Да и сам я казался призраком.
Сколько раз, боже мой!
по дороге в пустую квартиру,
я поднимался на Зверев мост.
Соборы, башни, купола —
лежали на дне канала, как гнезда.

Разоренные. Пустые.
А я почему-то вспоминал дерево.
«Как оно у стены будет?
Сон показать — и тот некому».
Медленно шел обратно.

*Мы ведь, в сущности, так похожи —
говорим, а сказать ничего не можем.
Даже сны, и те смотрим чужие.
Просыпаемся — и ничего не помним.*

И тогда я увидел их.
Размером с наперсток,
в красных хоккейных шлемах,
они ходили по крыше
и громыхали задвижками,
открывая форточки созвездий.
Не город, но пятипалубный корабль
зажигал огни — и поднимался наверх.

Я видел, комья земли и глины, срываясь,
падали в сторону спальных районов.
Моллюски, водоросли, рыбы мерцали в небе,
облепив корни, —
и только темная ветка всё стучала и стучала в окна.

...Ее узор,
мелкий, как след скарабея,
сошел со стекла утром.
Ни слова я не запомнил.
Но с тех пор, как только
начинают поскрипывать звезды,
мне кажется, этот язык
утрачен не безвозвратно.
Однажды он вернется
и будет самым прозрачным
среди языков, которые
мы когда-нибудь
обретали.

*

В ночь на субботу шел последний снег.
Он был похож на кольца мокрой шерсти—
как будто наверху овечье стадо
стригут, а шерсть бросают вниз —
и вздрагивают липовые ветки,
роняя эти кольца на бульваре.

В ночь на субботу шел последний снег.
По снегу, оставляя черный след,
шел человек, и снег ему казался
большой зимы немислимым началом:
как если бы стоял не месяц март,
а приближалось время Козерога.

Смешно? Смешно. Конечно же, смешно.
В кармане у него билет на море.
К тому же дача, он хотел за лето
веранду перебрать и перекрасить.
А тут зима. «Хорошенькое дело!
Как незаметно лето пролетело...»

Так думал человек — и улыбался.
И не жалел о том, что получилось.
А снег всё падал кольцами на землю,
раскачивая липовые ветки,
и стриженные овцы на бульваре
жевали снег, зимы не соблюдая.

*

Три месяца почтовая бумага,
табак и неразрезанные книги
идут к нему из города в деревню —
«Что нынче в Петербурге, милый Гнедич?
Я вдалеке от вас ужасно болен
и целый день сижу в моей беседке,
сложивши на столе тетрадь и перья...»

«Что празднуют сегодня люди Рима?»
Зачеркнуто. *Какое торжество
над стогами всемирных столицы?*
«Писать охота смертная, мой Гнедич,
но где сыскать слова для сладких звуков?
Я нынче начал пьесу; видит Бог,
то будет сочинение на славу...»

Тем временем закрыли переправу.
Идут коровы, слышен стук ведра,
и пахнет свежей стружкой со двора.
Я не вступлю при плесках в Капитолий!

Зачеркнуто. Добыча злой судьбины,
теперь стою над бездной роковой!
Но тут сестра зовет его домой,

поскольку — ужин. Жареные грузди,
холодная телятина под хреном,
бараний бок, да гречневая каша,
да матовая рюмка русской водки.
«Мне в целом свете всё теперь постыло,
и, если проживу еще десяток,
наверное, сойду с ума, мой Гнедич...»

.....

В деревне полночь. Спят. Горит одно
окошко в целом доме, но оно
окно сестры. Она читает письма,
потом свеча, взмахнув тенями, гаснет.

*Сорренто! колыбель печальных дней,
где я в ночи, как трепетный Асканий,
бежал, вручив себя волнам на милость...*

Тем временем на небо взгромоздилась
зеленая, как яблоко, звезда,
всю ночь она качается на ветке,
но наш певец не зрит звезды в эфире,
поскольку спит, судьбу в слова вплетая,
и только вологодские коровы,
пригнув рога, бредут на Капитолий.

*

Как долго петляет дорога
среди потемневших озер.
Скрипит вдоль дороги осока,
и плещется в небе осетр.

Станица Березовый Мостик —
в запруде гуляет звезда.
Уснули вчерашние гости:
шуршит в головах береста.

А в синих, как лампа, курганах
гудят по ночам огоньки.
Сидят в полосатых тюрбанах
вокруг очага мужики,

бросают свинцовые кости
и пьют голубое вино,
где плавают мокрые звезды
и тихо ложатся на дно.

*

Окликни меня у Никитских ворот
и лишний билетик спроси по привычке.
«А помнишь, в *Оладьях* — вишневый компот,
и как на домах поменяли таблички?»

Здесь были когда-то «Пельмени»,
и водка бежала по вене

актера, который умрет, отыграв
премьеру в театре, и ляжет на полку
«Повторного фильма» в Калашных рядах,
навек зашторив свои телескопы.

«Так что же ты, Господи, медлишь?
И сколько еще мне намелешь?»

Вот «Рыба», а в «Рыбе» судак на гвозде,
вот палтус — как связка с ключами от храма,
где нас обручали в сырой темноте,
и лавочки спят в полосатых пижамах.

Горит вознесенская свечка.
Стучит за подкладкой сердечко.

Повторного фильма последний сеанс!
В пустом кинозале скрипят половицы.
Но это кино было только про нас.
И эта комедия не повторится.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Жёлудь

«неввысокий мужчина в очках с бородой...»	7
«выпускаешь из рук, и бежит по рукам в темноту...»	8
«в зябких мечетях души бормочет...»	9
«как долго я на белой книге спал...»	10
«в мире из множества смежных квартир...»	11
«мокрый флаг на великой стене...»	12
«...немногих слов на лентах языка...»	13
«когда не останется больше причин...»	14
«на дне морском колючий ветер...»	15
«низко стоят над москвой облака...»	16
«какой-нибудь полузабытый мотив...»	17
«эта музыка в нас, как вода пого льдом...»	18

2. Запах вишни

«Алла-алла!...»	21
Запах вишни (поэма)	27
«Мураново» (поэма)	39

3. «На старом кладбище в Коломенском...»

«Обрастаешь стихами, как будто вторая кожа...»	47
«Царство небесное, кровь с молоком...»	48
«Четыре дня над городом фрамуги...»	50
«Москва! несгораемый ящик...»	53
«Пог Рождество на Чистопрудном...»	54
«Татарская Старая Крепость...»	56
«Смотри — как выросла за лето...»	59
«На старом кладбище в Коломенском...»	62
«Саг Люксембурга и Парк Победы...»	65
«...дерево. Оно...»	66
«В ночь на субботу шел последний снег...»	70
«Три месяца почтовая бумага...»	72
«Как долго петляет дорога...»	75
«Окликни меня у Никитских ворот...»	76

*Литературно-художественное издание
Серия «Поэтическая библиотека»*

Глеб Шульпяков

Жёлудь

Редактор: Лариса Спиригонова

Художественный редактор:

Валерий Калныньш

Подписано в печать 30.10.2006

Формат 60x70/16. Бумага офсетная

Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ №

«Время»

115326 Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 231-1864

e-mail: letter@vremya.ru

<http://books.vremya.ru>

Дизайн: Кирилл Ильющенко